МЁРТВЫЕ ДУШИ
18+
ТОМ ТРЕТИЙ
ЖИВЫЕ ДУШИ
MARC VITALIS

Marc Vitalis

Мёртвые души. Том третий. Живые души

«Издательские решения»

Vitalis M.

Мёртвые души. Том третий. Живые души / M. Vitalis — «Издательские решения»,

Что ждет человека, чья жизнь некогда держалась на скупке мертвых душ, в холодном Петербурге? Павел Иванович Чичиков начинает службу в департаменте, где переплавляются казенные миллионы. Отвергнув искушения, он выбирает путь чести и наживает опасных врагов. Петербург проверяет его на излом, но в тихом свете лампады Чичикова ждет главное открытие — обретение живой души.

© Vitalis M.
© Издательские решения

Содержание

Глава I 6
Глава II 9
Глава III 14
Глава IV 16
Глава V 23
Глава VI 25
Глава VII 28
Глава VIII 30
Глава IX 32
Глава X 34
Глава XI 35
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Мёртвые души. Том третий
Живые души

Marc Vitalis

© Marc Vitalis, 2026

ISBN 978-5-0071-1313-7 (т. 3)
ISBN 978-5-0071-1314-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава I

Странно и непостижимо устраивается судьба человеческая! Иной раз закинет она смертного в такую глушь, где только собаки лают да вороны кружат над покосившимися верстами, а потом, точно спохватившись, выдернет его оттуда за шиворот и бросит в самое пекло, в кипящий котел человеческих страстей и государственных амбиций.

Тот ли это самый Павел Иванович Чичиков, который когда-то неспешно катил в лёгкой рессорной бричке по пыльным губернским ухабам, любовно высчитывая барыши с мертвых крестьянских душ? События недавнего прошлого — следствие, холод казенной камеры, смрадное дыхание неминуемой каторги и, наконец, чудесное спасение, купленное ценою колоссального залога и молитвами праведного откупщика Афанасия Васильевича Муразова, — всё это теперь казалось ему тяжелым, мучительным сном.

С тех пор минуло около полутора лет. Павлу Ивановичу шел тридцать девятый год — возраст самый что ни на есть основательный. Юношеская горячка, заставлявшая бросаться в сомнительные аферы ради призрачных миллионов и херсонских поместий, окончательно выветрилась из его головы. На ее место пришла тяжелая, свинцовая усталость битого жизнью человека, который понял вдруг простую истину: не в миллионах кроется покой, а в чистой совести да в крепком, честном угле.

Но судьба, словно насмехаясь над его желанием тишины, забросила Павла Ивановича в самый шумный, самый безжалостный и холодный город империи — в блистательный Санкт-Петербург.

А Петербург в ту пору являл собою зрелище поистине ветхозаветного размаха. Город не просто жил — он строился, надрывался, стонал под тяжестью собственных исполинских замыслов. Едва успела осесть зола после страшного пожара, в одночасье уничтожившего великолепие Зимнего дворца, как государь повелел возродить императорскую резиденцию из пепла. Со всех концов необъятной России потянулись в столицу подводы с кирпичом, малахитом, сусальным золотом и ценным лесом. День и ночь, в трескучий мороз и в промозглую невскую слякоть, тысячи мужиков, словно муравьи, облепляли закопченные стены дворца.

А по соседству, на Исаакиевской площади, творилось и вовсе нечто невообразимое. Там, окруженный вечным лесом корабельных сосен, медленно, с тяжелым гранитным скрипом, врастал в болотистую петербургскую землю главный собор империи. По свинцовым водам Невы грузные баржи тянули монолитные колонны финляндского камня; скрипели вороты, рвались пеньковые канаты, и сырой воздух оглашался надсадным уханьем сотен грузчиков. Две эти колоссальные стройки, словно два бездонных водоворота, засасывали в себя миллионы казенных рублей. И туда же, на этот запах шальных казенных денег, слетались со всех губерний ушлые подрядчики, купцы, фабриканты и чиновники всех мастей, желавшие погреть руки у имперского костра.

Именно в эту грандиозную мясорубку, в отделение, ведавшее проверкой строительных смет и казенных подрядов, и был определен на службу надворный советник Павел Иванович Чичиков.

Серый, пропитанный колючей невской сыростью рассвет неохотно пробивался сквозь высокие окна скромной квартиры на Васильевском острове. Жилье Павла Ивановича состояло всего из двух небольших комнат, обставленных без малейшей претензии на роскошь, зато содержавшихся в строжайшей, почти армейской чистоте. У небольшого бюро красного дерева, кутаясь в теплый халат, сидел сам хозяин. Волосы его по-прежнему были густы, лицо сохранило свою приятную округлость, но во взгляде, прежде вечно юлящем, заискивающем и выискивающем слабину в собеседнике, появилась теперь новая, пугающая многих прямота.

Павел Иванович обмакнул гусиное перо в чернильницу, аккуратно снял каплю о край хрустального прибора и склонился над плотным листом бумаги.

«Милостивый государь и незабвенный благодетель мой, Афанасий Васильевич!» — вывел он ровным, округлым почерком. Он писал в ту самую далекую губернию, на старый адрес Муразова.

«Вот уже восемнадцать месяцев, батюшка, как топчу я гранит петербургский. Смею уверить Вас перед лицом Господа, что ни единого дня я не забывал Вашего завета. Служу честно. Жалованье мое невелико, а столица, сами знаете, требует расходов беспрестанных: то дрова по случаю дворцовой стройки вздорожают так, что хоть стулья топи, то сапожник сдерет втридорога. Вокруг меня море соблазнов бушует, чиновная братия не дремлет, и миллионы казенные сквозь пальцы текут. Иной раз рука сама тянется по старой памяти к пухлому конверту от просителя — ведь сами несут, Афанасий Васильевич, на блюде несут! Да вовремя одергиваю себя. Сплю я теперь сном спокойным и за каждый кусок хлеба своего перед небом отчитаться могу…»

Чичиков тяжело вздохнул, посыпал написанное мелким песком и отложил перо. В этот момент тяжелая дверь скрипнула, и на пороге, заполнив собой половину тесной прихожей, возник Селифан. За прошедшее время верный кучер ничуть не переменился: всё тот же засаленный тулупчик, те же вечно растрепанные волосы и выражение лица, на котором крупными буквами была написана готовность согласиться с чем угодно и сделать всё по-своему. Селифан квартировал внизу, в дворницкой, пристроив там же, в тесном сарайчике, единственную оставшуюся от былого величия лошаденку, но по утрам исправно являлся к барину с докладом.

— Барин, — прогудел Селифан, переминаясь с ноги на ногу и обдавая комнату запахом дегтя и конского пота. — Там это… дрова привезли-с. Охти мне, Павел Иванович, и цены нынче пошли! Чухонец за поленницу такую цену заломил, что хоть плачь. Говорит, весь лес нынче казна на дворец скупает, простому человеку и щепки не достанется. Дворник ругается, велит убирать со двора, а то квартального кликнет.

— Так ступай и уложи, дубина! — по привычке возвысил голос Чичиков, хотя в тоне его уже не было прежней барской злости, а звучала скорее усталая, домашняя снисходительность. — И смотри у меня, чтоб поленья сухие были, без гнили. Не то я тебя самого вместо дров в печку засуну! Овес-то для лошади купил?

— Купил-с, Павел Иванович. Только овес нынче пошел мелкий, щуплый какой-то. Лошадка наша его жует-жует, а всё одно боками светит. Ей бы, матушке, на лужок, на травку, а тут камень кругом, один камень… — Селифан философски почесал затылок, явно готовясь пуститься в долгие пространные рассуждения о тяготах городской жизни, но, поймав строгий взгляд барина, поспешно поклонился и скрылся за дверью.

Павел Иванович покачал головой. «Камень кругом, один камень», — мысленно повторил он слова кучера. И вправду, Петербург давил своим каменным великолепием. В этом муравьином, вечно спешащем потоке Чичиков чувствовал себя одинокой песчинкой. У него не было здесь ни могущественных покровителей, ни льстивых приятелей, с которыми он когда-то так ловко пил шампанское в губернских трактирах.

Но впервые в жизни это одиночество не пугало его. Напротив, в нем зарождалась тихая, робкая надежда на совершенно иное счастье. В мыслях его всё чаще всплывал образ теплой столовой, где на белоснежной скатерти пыхтит пузатый тульский самовар, а навстречу ему поднимает глубокие, спокойные глаза женщина — добрая, понимающая душа, с которой не страшно встретить старость. Но мысли эти были пока зыбкими, несмелыми, как первый весенний лед на Неве.

Чичиков подошел к небольшому зеркалу в потемневшей раме. Тщательно зачесав серебрящиеся пряди на висках, он облачился в форменный вицмундир. Сукно было добротное, но без малейшего щегольства. Сегодня его ждал департамент, пахнущий сургучом и кисловатыми

чернилами, и горы сметных бумаг, за каждой из которых пряталась чья-то ненасытная алчность.

Павел Иванович накинул шинель, запер дверь и тяжело спустился по крутой лестнице в сырой, окутанный желтоватым туманом петербургский двор, еще не подозревая, какую грандиозную битву приготовила ему сегодня государственная служба.

Глава II

Утренний Петербург встречал Павла Ивановича неприветливо, словно проверяя на прочность его новообретенную праведность. Холодный, пронизывающий до самых костей ветер дул с Невы, неся с собой мелкую ледяную морось. Извозчичьи пролетки с грохотом проносились мимо, обдавая редких пешеходов грязными брызгами. Но Чичиков, кутаясь в воротник своей скромной, не подбитой куницами шинели, шел пешком, мерно ступая по гранитным плитам.

Путь его пролегал мимо Дворцовой площади. Огромное, закопченное после страшного пожара здание Зимнего дворца уже скрывалось за густой паутиной строительных лесов. Вокруг кипела работа, не прекращавшаяся ни на минуту. Горели костры, у которых грели посиневшие руки мастеровые; скрипели подводы, груженные пудовыми блоками и лесом; надрывно кричали десятники. Империя спешила залечить свою рану. Павел Иванович остановился на мгновение, глядя на этот муравейник. Он нутром, своим феноменальным бывшим воровским чутьем, ощущал, как в этой суматохе, под стук топоров и крики возничих, бесследно растворяются колоссальные казенные суммы. Удивительное дело: раньше от одной мысли о таких барышах у него сладко замирало сердце и начинали чесаться ладони, а теперь он смотрел на всё это с холодной, почти брезгливой отстраненностью хирурга, видящего перед собой тяжелую болезнь.

Добравшись до здания строительной комиссии, Павел Иванович привычно окунулся в тяжелую, спертую атмосферу присутственного места. Здесь пахло сургучом, застарелой пылью и тем особенным, кисловатым духом канцелярских чернил, который не выветривался ни при каком проветривании. Десятки перьев скрипели по гербовой бумаге с таким усердием, словно от этого скрипа зависело само вращение земли.

Чичиков прошел к своему месту — небольшому дубовому столу, заваленному пухлыми папками смет, ведомостей и докладных записок. Ему поручили один из самых сложных участков: проверку подрядов на поставку строевого леса для восстановления дворцовых перекрытий и лесов Исаакиевского собора. Начальство быстро смекнуло, что новый надворный советник обладает дьявольской дотошностью и умом, способным распутать самую хитрую бухгалтерскую паутину.

Павел Иванович надел очки в тонкой металлической оправе и придвинул к себе свежую папку, на которой значилось имя купца первой гильдии Никанора Савельича Дерунова. Купец сей брался поставить для нужд казны две тысячи пудов отборной красной сосны. Однако же, согласно приложенной ведомости и слезному прошению самого Дерунова, три баржи с драгоценным грузом благополучно затонули во время внезапной бури на Ладожском озере. Убыток выходил преизрядный, и купец требовал от комиссии не только списания долга, но и новой выплаты для покрытия неустойки.

Другой чиновник, взглянув на гербовые печати и подписи уездных исправников, лишь вздохнул бы о непредсказуемости русской стихии, принял бы от купца увесистый конверт и подмахнул бумагу. Но Чичиков не был «другим чиновником».

Он вооружился карандашом и чистым листом бумаги.

— Позвольте-с, — забормотал он себе под нос, выстраивая в столбик цифры и даты. — Лес красный, строевой, высушенный. Плотность дерева такова, что тонуть камнем он никак не может, даже если баржа в щепки разлетится. Лес должен плыть. Это раз.

Чичиков потянулся за другой папкой, где хранились выписки из полицейских управлений.

— Буря на Ладоге, согласно рапорту Дерунова, случилась двадцать пятого числа в верстах тридцати от берега. Однако же сводка погодная по Шлиссельбургскому уезду гласит, что

двадцать пятого стоял штиль, а буря началась лишь в ночь на двадцать седьмое. Каким же манером баржи ваши, Никанор Савельич, утонули до бури? И куда делись бревна, кои не тонут?

Губы Павла Ивановича тронула тонкая, безжалостная улыбка. Он ясно видел всю схему: баржи никуда не тонули. Они были благополучно отведены в тайные заводи под Шлиссельбургом, лес разгружен на частные склады купца, чтобы осенью, когда цены на стройматериалы из-за дворцовой стройки взлетят до небес, быть проданным втридорога частным лицам. А казна оплатит этот праздник жизни дважды.

В этот самый момент тяжелая дубовая дверь отделения приотворилась, и на пороге возникла грузная, дышащая дорогим табаком, сытным завтраком и уверенностью в себе фигура. Это был сам купец Дерунов. Одет он был в превосходный синий сюртук; на груди его поблескивала массивная золотая цепь, а в бороде, окладистой и ухоженной, казалось, запуталось само купеческое благополучие.

Окинув присутствие цепким взглядом и убедившись, что прочие столы по случаю утреннего чаепития пустуют, купец мягким, совершенно не вяжущимся с его комплекцией вкрадчивым шагом приблизился к столу Чичикова.

— Бог в помощь, Павел Иванович! — пророкотал Дерунов, источая елейную улыбку, от которой глаза его превратились в две хитрые щелочки. — Трудитесь всё, аки пчела государева, себя не жалея. А я вот мимо по делам шел, дай, думаю, загляну к благодетелю. Бумажки-то мои ладожские, слезные, чай, изволили посмотреть?

— Посмотрел, Никанор Савельич. Очень даже внимательно посмотрел, — ровным, лишенным всякого выражения голосом ответил Чичиков, снимая очки и откидываясь на спинку стула.

— Стихия, Павел Иванович! Беда горькая! — купец картинно возвел очи горе, приложив пухлую руку к груди. — Против воли Божьей да против волны ладожской не попрешь. Одни убытки терпим ради государева дела.

Говоря это, Дерунов неуловимым, отработанным годами движением сунул руку за пазуху и извлек на свет пухлый конверт светлой почтовой бумаги. Конверт этот, словно по волшебству, мягко и бесшумно лег на стол, в аккурат под край рапорта о затонувших баржах.

— Вы уж похлопочите, отец родной, чтобы делу ход дать без задержек, — зашептал купец, нависая над столом. — Убытки-то мои, а благодарность — она пределов не знает. Тут, к слову сказать, не то что на дрова хватит… Тут на хорошую тройку орловских рысаков с коляской положено. Никто не обижен будет.

Павел Иванович опустил взгляд на конверт. Лет пять-семь назад при виде такой немыслимой пухлости у него сладко заныло бы под ложечкой, в ушах зазвенели бы колокольчики, а в голове мгновенно созрел бы план, в какой банк положить эти деньги. Старая, въевшаяся под кожу натура рванулась было наружу, крича: «Бери! Ведь никто не узнает! Все так делают! Бери и обеспечь себе спокойную старость!»

Но Чичиков сидел неподвижно. Перед его внутренним взором вдруг ясно всплыло освещенное лампой лицо старца Муразова, а следом — чистые, спокойные глаза той женщины, образ которой он всё чаще рисовал в своих мечтах. Если он сейчас протянет руку к этому конверту, он снова станет тем самым ползающим в грязи червем, скупающим мертвые души. Только теперь душа эта будет его собственной.

Чичиков медленно, но твердо взял конверт двумя пальцами, брезгливо, словно ядовитое насекомое, и отодвинул его обратно к краю стола, прямо под руку купца.

— Рысаки мне ни к чему, Никанор Савельич. Я человек пеший, гулять люблю, — голос Павла Ивановича зазвучал с такой металлической, холодной жесткостью, что Дерунов даже перестал дышать. — А рапорт ваш я в комиссию непременно передам. Только с особой припиской. О том, что лес красный не тонет, и о том, что погодные сводки с вашими датами не схо-

дятся. И посоветую полиции наведаться на ваши тайные склады под Выборгом. Лес-то нынче в цене, правда?

Лицо купца пошло некрасивыми багровыми пятнами. Елейная улыбка сползла, обнажив волчий, хищный оскал человека, привыкшего покупать всё и вся.

— Вы это… того… не дурите, господин надворный советник, — прошипел Дерунов, тяжело опираясь кулаками о стол Чичикова. — Вы человек в столице новый. Мосты здесь узкие, а вода в Неве глубокая. Оступитесь — никто руки не подаст. Жизнь-то свою рушите из-за чужих бревен.

— Моя жизнь, Никанор Савельич, уже один раз разрушена была. И строил я ее заново не из ворованного леса, — отрезал Чичиков, глядя купцу прямо в глаза. — Заберите ваши ассигнации и извольте покинуть присутствие.

Дерунов сгреб конверт, злобно сверкнул глазами, сунул его глубоко за пазуху и грузно выкатился из кабинета, хлопнув дверью с такой силой, что жалобно звякнули стекла в высоких книжных шкафах.

Оставшись один, Павел Иванович перевел дух. Руки его слегка дрожали от небывалого напряжения, на лбу выступила испарина. Но Боже мой, как же легко, как невероятно просторно стало у него на душе! Он не продал себя. Он выстоял. Это новое, неизведанное чувство собственного, не купленного достоинства оказалось пьяняще слаще любого барыша.

Отработав положенные часы и аккуратно перевязав обличительные бумаги тесьмой, Чичиков решил, что сегодняшний день требует совершенно особенного завершения. Ощущая себя победителем собственных демонов, он направил свои стопы не домой, к привычной тарелке пустых щей, а в ресторацию на Невском проспекте — заведение весьма приличное, славившееся своей чистой публикой и отменными расстегаями.

В просторном зале ресторации стоял тот особенный, густой и сытный гул, который бывает только в заведениях, где столичная публика собирается не ради пустых светских бесед, а ради основательной, серьезной трапезы. Сновали расторопные половые в белоснежных рубахах навыпуск, звенела тяжелая фаянсовая посуда и серебро, а в воздухе плавали дразнящие ароматы жареной дичи, наваристых щей, раковых шеек и свежепеченого теста.

Павел Иванович выбрал уединенный столик у высокого окна, выходящего на Невский проспект, заказал порцию сборной мясной солянки и знаменитый здешний расстегай с вязигой, после чего благодушно откинулся на спинку венского стула, наблюдая за уличной суетой. На душе у него было удивительно ясно.

Не успел половой поставить перед ним дымящуюся глубокую тарелку и запотевший графинчик с квасом, как к столику, мягко, почти кошачьим шагом, приблизился человек весьма примечательной наружности. Был он высок, сухощав, с острым, словно птичьим профилем и необычайно живыми, цепкими, насмешливыми глазами. Одет он был в потертый, но сшитый явно у хорошего портного фрак, выдававший в нем человека некогда состоятельного, но по какой-то причине пустившего свою фортуну по ветру.

— Позволите присесть, Павел Иванович? — учтиво, но без малейшего подобострастия спросил незнакомец. Голос у него был скрипучий, но приятный, с интонациями заядлого театрала.

Чичиков нахмурился. В Петербурге он жил уединенно и ни с кем не водил столь коротких знакомств, чтобы к нему запросто подсаживались в ресторациях.

— Мы, кажется, не имеем чести быть знакомы? — холодно отозвался он, не предлагая, впрочем, гостю уйти.

— Викентий Егорович Заболоцкий, к вашим услугам, — незнакомец бесцеремонно отодвинул стул и сел напротив, положив на скатерть длинные, нервные пальцы. — Служу по строительному ведомству мелким письмоводителем, но нынче выступаю, так сказать, в роли частного и весьма деликатного курьера. Никанор Савельич Дерунов кланяться велели.

Услышав фамилию купца, Чичиков внутренне подобрался. Благодушное настроение слетело вмиг, уступив место холодной настороженности.

— Если ваш Никанор Савельич прислал вас продолжить утренний разговор о затонувших баржах, то вы напрасно топтали сапоги, — жестко отрезал Павел Иванович, отодвигая от себя корзинку с хлебом. — Мой ответ был дан окончательно.

Заболоцкий усмехнулся одними уголками губ, ничуть не смутившись таким приемом. Он подозвал пробегавшего мимо полового и жестом велел принести себе рюмку водки, после чего подался вперед, понизив голос:

— Павел Иванович, полноте горячиться. Мы же с вами взрослые, тертые жизнью люди. Дерунов, конечно, медведь. Полез с конвертом прямо в казенном присутствии — это вопиющий моветон, согласен. Вы человек в столице новый, осторожный, знаете, что у стен бывают уши. Купец свою ошибку осознал и велел передать, что конверт за эти два часа изрядно растолстел. К орловским рысакам прибавилась не только коляска, но и каменный домик на окраине. Давайте смотреть на вещи трезво: лес уже списан в уме комиссии, бумаги ждут только вашей крошечной закорючки. Зачем вам одному против течения грести? Надоест ведь, да и захлебнуться недолго.

Половой принес Заболоцкому водку. Тот кивнул, но к рюмке не притронулся, продолжая сверлить Чичикова своим проницательным, птичьим взглядом.

Павел Иванович смотрел на этого умного, язвительного человека, который так буднично, между глотком кваса и ложкой солянки, предлагал ему продать душу.

— Викентий Егорович, — заговорил Чичиков тихо, но с такой тяжелой, свинцовой убежденностью, что Заболоцкий невольно перестал улыбаться. — Скажите вашему купцу следующее. Я в своей жизни торговал вещами куда пострашнее и прибыльнее ладожских барж. Я свою совесть уже один раз заложил, и выкупать её мне пришлось по такой страшной цене, что ни в один купеческий конверт не влезет. Так что передайте Дерунову: подписи моей не будет. А если сунется еще раз — я пойду с докладом прямо к министру.

За столом повисла долгая, вязкая пауза. Слышно было лишь, как за соседними столиками звенят вилками и смеются раскрасневшиеся от вина посетители. Заболоцкий машинально взял свою рюмку, поднес к губам, но пить не стал. Его глаза сузились. Он изучал лицо Чичикова, словно редкую диковину, пытаясь найти в нем хоть тень лукавства, хоть крошечный намек на то, что чиновник просто набивает цену. Но находил лишь упрямую, железобетонную усталость честного человека, которому нечего терять.

Вдруг лицо Заболоцкого удивительным образом преобразилось. С него разом слетела маска пронырливого стряпчего, обнажив умные, трагичные и бесконечно усталые черты. Он медленно поставил нетронутую рюмку на стол.

— А вы ведь не торгуетесь, — с искренним, почти детским изумлением произнес он. — Господи помилуй… вы и впрямь не возьмете.

— Не возьму, — как топором отрубил Чичиков.

Заболоцкий откинулся на спинку стула и покачал головой, глядя на Павла Ивановича с невольным уважением.

— Знаете, батюшка, я ведь шел сюда с полнейшей уверенностью, что вы просто умный и жадный крючкотвор, решивший подоить толстого купца. В Петербурге все доятся, вопрос лишь в размере подойника. А вы… — он усмехнулся, но уже без яда, скорее с горечью. — Вы — белая ворона на этом гранитном болоте.

— Пусть так.

— Я скажу ему, что вы непреклонны, — Заболоцкий тяжело поднялся из-за стола, одернув свой потертый фрак. — Но позвольте мне, уже не от имени купца Дерунова, а от себя лично, дать вам один совет. Никанор Савельич этого оскорбления не забудет. Он человек злопамятный, а связи у него, как гнилые корни, тянутся до самых министерских верхов. Сегодня

вы спасли казну, но нажили себе такого врага, который будет ждать годами, чтобы подставить вам ножку в самом темном переулке вашей судьбы. Берегитесь, Чичиков. По петербургскому болоту посуху не ходят.

Он отвесил учтивый поклон и, не оглядываясь, направился к выходу, растворившись в шумной толпе ресторации.

Павел Иванович остался один. Солянка перед ним давно перестала дымиться, покрывшись тонкой жирной пленкой. Аппетит пропал совершенно, но страха не было. Слова Заболоцкого легли на сердце тяжелым холодным камнем, однако Чичиков чувствовал: сегодня он обрел не только опасного, могущественного врага, но и странного, циничного, но честного наблюдателя, который, возможно, когда-нибудь станет ему союзником.

Пододвинув тарелку, Павел Иванович взялся за ложку. Первая битва за свою новую жизнь была им выиграна, но настоящая, безжалостная война только начиналась.

Глава III

Говорят, что бумага в российских канцеляриях имеет свойство лежать без движения годами, обрастая вековой пылью, выцветая и превращаясь в труху под сукном столоначальника. Но бывает и так, что лист гербовой бумаги, исписанный убористым почерком и подкрепленный железной логикой, вдруг обретает силу пушечного ядра, способного пробить брешь в самой толстой крепостной стене казнокрадства.

Именно таким ядром стала докладная записка, которую надворный советник Павел Иванович Чичиков на следующее же утро торжественно, с ледяным спокойствием на лице, положил на стол председателя ревизионной комиссии.

В записке этой не было ни пафоса, ни лирических отступлений. Только цифры, даты, метеорологические выкладки из Шлиссельбурга и точный, математически выверенный расчет плотности красной корабельной сосны. К докладу Павел Иванович присовокупил прозрачный, как слеза, вывод: баржи Никанора Савельича Дерунова затонуть не могли физически, а потому искать государственное имущество надлежит не на илистом дне суровой Ладоги, а на тайных, надежно укрытых от чужого глаза купеческих складах в глухих протоках под Шлиссельбургом.

Когда маховик государственной машины, наконец, со скрипом провернулся и тяжелые шестерни правосудия пришли в движение, эффект превзошел все ожидания.

Председатель комиссии, человек осторожный, но дороживший своим местом ввиду грядущих императорских проверок, дал бумагам ход. В тот же день с курьером полетела депеша к выборгскому полицмейстеру. Грянул гром. Внезапная, как снег на голову, полицейская экзекуция нагрянула на загородные владения купца Дерунова. И — о чудо! — «утонувший» лес, целехонький, аккуратно ошкуренный и уложенный в необъятные штабеля, обнаружился именно там, где и предсказывал бывший скупщик мертвых душ.

Петербург ахнул. Скандал вышел неслыханный, тем более что в деле были замешаны средства, отпущенные на святая святых — Исаакиевский собор и Зимний дворец. Купца первой гильдии Дерунова, еще вчера вальяжно открывавшего ногой двери в министерские передние, взяли под стражу прямо в его роскошном особняке на Английской набережной. Имущество его было тотчас опечатано, векселя арестованы, а сам он, в одночасье постаревший и растерявший весь свой купеческий лоск, давал теперь потные показания следователям.

А в самом департаменте, где служил Чичиков, тем временем творилось нечто невообразимое. Имя скромного надворного советника не сходило с уст. Чиновники, привыкшие к тому, что всякое дело можно уладить полюбовно за известную мзду, смотрели на Павла Ивановича с мистическим ужасом. Когда он проходил по коридору, шепот мгновенно стихал, а спины вытягивались по струнке. Те, у кого рыльце было в пуху (а таких в строительном ведомстве водилось преизрядно), начали панически бояться его спокойного, внимательного взгляда. Зато те немногие, кто тянул лямку честно, перебиваясь с хлеба на квас, взирали на него как на святого Георгия, пронзившего копьем ненасытного змея.

Сам же Павел Иванович держался с невероятным достоинством. Он не задирал носа, не произносил пламенных речей о добродетели, а лишь еще усерднее скрипел пером за своим дубовым столом. Но в душе его пели торжественные хоры. Он чувствовал, как с каждым днем с его плеч осыпается струпьями тяжелая, грязная корка прошлого. Он доказал — и прежде всего самому себе, — что Муразов спас его не напрасно.

Именно в один из таких дней, когда эхо деруновского скандала еще гуляло по высоким сводам министерства, к столу Чичикова неспешным, шаркающим шагом приблизился сухонький старичок в безукоризненно чистом, хотя и изрядно потертом на локтях вицмундире.

Это был статский советник Александр Иванович Светлооков. Человек старой, еще александровской закалки, он слыл в департаменте чудаком и «бессребреником» за свою абсолют-

ную, почти болезненную неподкупность. Из-за этой самой честности он так и не нажил каменных палат, ютился в скромной казенной квартире на Фонтанке и воспитывал единственную дочь.

— А, Павел Иванович! Трудитесь, батюшка, трудитесь, — проскрипел Светлооков, добродушно щурясь сквозь круглые стеклышки очков. Голос его, обычно тихий, сейчас дрожал от сдерживаемого волнения.

Чичиков поспешно отложил перо и привстал, выказывая уважение старшему по чину и возрасту.

— Долг службы, Александр Иванович. Сметы-с… Не терпят отлагательств.

Светлооков пожевал губами, оглянулся по сторонам, словно проверяя, не греет ли кто уши, и вдруг, шагнув ближе, крепко, обеими сухими руками схватил руку Чичикова.

— Я, Павел Иванович, человек старый. Всякого на своем веку навидался, — заговорил Светлооков, и в уголках его глаз блеснула влага. — И признаться честно, думал уже, что перевелись на Руси люди с позвоночником. Думал, всё распродано, всё молью изъедено. А вы… То, как вы этого ирода Дерунова к ногтю прижали… Да ведь вам, я знаю доподлинно, золотые горы сулили! А вы не взяли. Отстояли казенную копейку!

— Александр Иванович, помилуйте, право слово… — Чичиков, не привыкший к столь искренним, не покупным похвалам, густо покраснел. — Я лишь поступил по закону.

— Золотые слова! Редкость в наше время, великая редкость! — статский советник одобрительно покивал лысеющей головой. Он постоял немного, не выпуская руки Чичикова, а затем, словно решившись на что-то крайне важное, произнес: — Знаете что, голубчик? Вы человек одинокий, петербургских пустых соблазнов чуждаетесь, в карты до полуночи в клубах не режетесь. Сделайте одолжение старому человеку, загляните к нам в это воскресенье вечерком на чашку чая. Мы люди простые, разносолов не держим, балов не даем. Но варенье крыжовенное у моей дочери, Веры Александровны, — смею уверить, первейшее во всей столице. Приходите, Павел Иванович. Для меня будет честью принять под своим кровом такого честного человека.

В груди Чичикова что-то сладко екнуло и оборвалось. В Петербурге такие приглашения, да еще от человека столь щепетильного, как Светлооков, не делались просто так из вежливости. Это было признание. Это был пропуск в тот самый мир чистоты и домашнего покоя, о котором он так отчаянно молился по утрам.

— Почту за величайшее счастье, Александр Иванович, — с готовностью, стараясь унять дрожь в голосе, ответил Чичиков. — В котором часу прикажете быть?

— А часам к шести и жалуйте. На Фонтанке, дом Меркулова, спросите квартиру Светлоокова, там всякий дворник укажет. Будем ждать-с!

Старичок благосклонно кивнул и посеменил обратно к своему отделу. А Павел Иванович вдруг поймал себя на том, что смотрит на казенную бумагу, не разбирая на ней ни единой буквы. Сердце его, привыкшее трепетать лишь при подсчете ассигнаций, вдруг забилось с какой-то новой, совершенно незнакомой ему юношеской тревогой. Он еще не знал, как выглядит эта Вера Александровна, варившая крыжовенное варенье, но в самом этом имени, произнесенном в контексте тихого домашнего вечера, почудилось ему заветное прибежище.

До самого воскресенья Чичиков жил как в тумане. Вернувшись домой в тот же вечер, он устроил Селифану настоящий разнос за нечищеные сапоги, заставил выбить вековую пыль из парадного фрака и битый час крутился перед тусклым зеркалом, тщательно примеряя галстуки. Он готовился не к сделке, не к визиту к губернатору ради выгоды — он готовился к первому в своей новой жизни шагу навстречу свету. И шаг этот, как он чувствовал всем своим существом, должен был навсегда изменить его судьбу.

Глава IV

Воскресный петербургский вечер опускался на город нехотя, кутая гранитные набережные в сизую, влажную дымку. Зажигались первые тусклые фонари, выхватывая из сумрака то проносящуюся мимо щегольскую коляску, то сгорбленную фигуру запоздалого мастерового.

Для Павла Ивановича Чичикова этот день начался задолго до рассвета. Никогда еще, даже в те времена, когда он готовился предстать перед губернатором ради самой выгодной сделки, он не испытывал такого мучительного, почти юношеского трепета. С самого утра Селифан был доведен до полного изнеможения: парадный фрак, тот самый, что шился еще в пору первых робких надежд на честную жизнь, чистился щетками трижды, пока сукно не начало угрожающе лосниться. Сапоги были натерты ваксой до состояния зеркальной глади, в которой, при желании, можно было бы рассмотреть собственное отражение.

Наконец, когда стрелки часов неумолимо приблизились к половине шестого, Чичиков вышел на улицу. От услуг извозчика он отказался намеренно — во-первых, чтобы сберечь полтинник, а во-вторых, чтобы морозный невский воздух хоть немного остудил пылающие щеки.

Дом Меркулова на Фонтанке оказался строгим, в три этажа, каменным строением без всяких архитектурных излишеств, но содержавшимся в завидной чистоте. Поднявшись по полутемной, пахнущей кошками и жареным луком лестнице на второй этаж, Павел Иванович остановился перед массивной дубовой дверью, обитой потертой, но крепкой кожей. Сердце его колотилось подобно маятнику старинных часов, отбивающему новый, неведомый доселе ритм. Он потянул за медную ручку звонка.

Дверь отворилась почти тотчас. На пороге стояла пожилая, опрятно одетая кухарка в белом переднике. Окинув гостя строгим, оценивающим взглядом, она почтительно поклонилась:

— Пожалуйте, барин. Александр Иванович уж дожидаются-с.

Чичиков снял шинель, бережно повесил ее на деревянную вешалку в тесной прихожей и, пригладив перед зеркалом серебрящиеся на висках волосы, шагнул в гостиную.

Здесь не было ни позолоты, ни тяжелых штофных обоев, ни тех кричащих о богатстве (или о страстном желании казаться богатым) вещей, которыми так любили обставлять свои жилища губернские знакомые Павла Ивановича. В комнате царил дух благородной, спокойной бедности, которая не стыдится самой себя. Вдоль стен выстроились книжные шкафы красного дерева, плотно уставленные потертыми корешками; у окна примостились старенькие, но уютные вольтеровские кресла с протертой обивкой, на подоконнике герань тянула свои листья к остывающему свету. А в центре комнаты высился круглый стол, накрытый ослепительно белой скатертью, посреди которого уже добродушно, с этаким домашним достоинством пыхтел пузатый тульский самовар.

— А, пожаловали, Павел Иванович! Милости просим, дорогой гость! — статский советник Светлооков вышел навстречу, радостно потирая сухие, пергаментные руки. Он был одет в домашний, изрядно поношенный халат, что придавало ему вид еще более домашний и безобидный, нежели в департаменте. — Прошу к столу-с. Вера, душа моя, оставь на минуту хлопоты, посмотри, кто к нам пришел!

Из соседней комнаты, должно быть, столовой, неслышным шагом вышла девушка, и Чичиков, к собственному величайшему удивлению, вдруг почувствовал, как у него перехватило дыхание.

Привычным, цепким взглядом прежнего Чичикова он бы мигом вычислил, что ей никак не меньше двадцати пяти лет — возраст для столичной барышни, не успевшей выскочить замуж, почти критический. Но прежнего Чичикова больше не существовало.

Вера Александровна не ослепляла с первого взгляда той фарфоровой, кукольной красотою, от которой так легко теряют голову восторженные юнцы. В ней не было ни жеманства губернаторской дочки, ни тяжеловесного, напористого кокетства уездных дам, любивших прикрываться веерами. Она была одета в простое шерстяное платье глубокого синего цвета, строго облегавшее ее стройную, статную фигуру. Гладко зачесанные русые волосы, собранные на затылке в тяжелый узел, открывали высокий, чистый лоб. Но главное, что навсегда приковало к себе взгляд Павла Ивановича, скрывалось в ее глазах — глубоких, темно-карих, смотревших на мир без всякой светской фальши, с удивительным спокойствием и тихим, согревающим умом.

— Павел Иванович Чичиков, мой сослуживец и, не побоюсь этого слова, спаситель казенной чести, о котором я тебе столько рассказывал, — с гордостью представил его хозяин.

— Очень рада знакомству, — произнесла Вера Александровна, чуть склонив голову. Голос ее оказался под стать взгляду: ровный, грудной, льющийся легко и естественно. — Папенька говорит, что без вашей въедливости казна не досчиталась бы многих тысяч, а Исаакиевский собор лишился бы лучших лесов.

— Александр Иванович преувеличивает мои скромные заслуги, сударыня, — Павел Иванович отвесил глубокий поклон, вдруг с ужасом осознав, что краска — давно забытое, мальчишеское чувство! — густо приливает к его щекам. — Я лишь стараюсь исполнять свой долг с той мерой порядочности, какую мне Господь отпустил.

Они сели за стол. Вера Александровна принялась разливать чай. Ее руки двигались плавно и уверенно над тонкими фарфоровыми чашками, и в этом обыденном действии Чичикову вдруг почудилось такое невероятное, пронзительное домашнее благолепие, что у него сладко защемило в груди.

— А варенье-то, варенье отведайте, Павел Иванович! — суетился старик Светлооков, пододвигая гостю хрустальную розетку. — Крыжовенное, по особому рецепту покойной супруги моей варится. И ведь что за время нынче пошло! Вы подумайте только, Вера, наш гость давеча такую гидру за хвост ухватил! Как он этого Дерунова с его тайными шлиссельбургскими складами на чистую воду вывел — это же поэма! У них ведь там, под Шлиссельбургом, целая крепость из краденого леса была выстроена, а по бумагам — всё на дне ладожском почивает!

Вера Александровна посмотрела на Чичикова с искренним, теплым уважением.

— Должно быть, вам потребовалось немалое мужество, Павел Иванович, — тихо заметила она, передавая ему чашку с чаем. — В Петербурге честность часто обходится дороже самого дорогого леса. Говорят, этот купец человек страшный и мстительный. Вы не боитесь?

Чичиков бережно принял чашку, коснувшись на мгновение ее теплых пальцев, и посмотрел ей прямо в глаза.

— Бояться, Вера Александровна, нужно не купцов, а собственной слабости, — ответил он совершенно искренне. — Когда человек однажды в жизни уже оступился во тьму, а потом чудом выбрался на свет, ему никакие шлиссельбургские гидры не страшны. Страшно лишь снова свет потерять.

В комнате на мгновение повисла тишина, прерываемая лишь мерным тиканьем ходиков на стене да сытым мурлыканьем самовара. Старик Светлооков понимающе закивал, а Вера Александровна опустила глаза на свою чашку, но Чичиков успел заметить, как в ее взгляде мелькнуло что-то дрогнувшее, сочувственное и бесконечно нежное.

В этот самый миг Павел Иванович окончательно понял: вот она, та единственная пристань, в которой его избитому штормами кораблю суждено бросить якорь. И ради этого тихого света он готов был вынести любые удары петербургской судьбы.

Разговор, на мгновение замерший на столь высокой и искренней ноте, вскоре вновь потек своим чередом — плавно и уютно, под мерное бульканье закипающего самовара. Александр

Иванович, обрадованный тем, что гость оказался человеком не только честным, но и понятливым, совершенно расслабился в своем стареньком халате.

— А отведайте-ка вот этих сухариков, Павел Иванович, — потчевал старик, пододвигая плетеную корзинку. — Верочка сама пекла. В кондитерских на Невском сплошь обман: снаружи миндаль да сахар, а внутри труха. А у нас всё свое, настоящее.

Чичиков с благоговением взял сухарик, хрустнул им и запил горячим чаем с тем самым знаменитым крыжовенным вареньем. Варенье оказалось удивительным: в меру сладким, с легкой, едва уловимой кислинкой, которая так приятно освежала. Впервые за долгие годы Павел Иванович сидел за столом и не высчитывал в уме, сколько дохода приносит хозяину имение и как бы половчее подобраться к его кошельку. Он просто пил чай. И это бесхитростное занятие казалось ему теперь величайшим блаженством.

— Скажите, Павел Иванович, — произнес Светлооков, щурясь сквозь очки, — а ведь вы, почитай, всю матушку-Россию исколесили, прежде чем к нам в министерство попасть? Я ведь в формулярный ваш список заглядывал, грешен. И там служили, и здесь… Должно быть, насмотрелись на жизнь провинциальную вдоволь?

Чичиков осторожно поставил чашку на блюдце. Вопрос был скользким, но врать в этом доме, глядя в ясные глаза Веры Александровны, он не мог и не хотел.

— Исколесил, Александр Иванович. Столько верст намотал, что иному ямщику впору позавидовать, — с легкой, задумчивой грустью ответил он. — Насмотрелся, правда ваша. Только смотреть-то, по совести говоря, радости было мало. Всё постоялые дворы, непролазная грязь по весне, уездные сплетни да вечная, изматывающая погоня за копейкой. Люди там живут так, словно черновик пишут, всё надеются, что когда-нибудь потом набело перепишут. И я так жил. Всё казалось, что настоящее счастье и покой ждут за следующим верстовым столбом. Гнал лошадей, гнал себя… А гнался, выходит, за призраком.

Вера Александровна, до этого внимательно слушавшая гостя, чуть склонила голову набок.

— И оттого Петербург теперь не кажется вам пугающим? — тихо спросила она. — Многие, приезжая из провинции, жалуются на наш город. Говорят, он холоден, каменен и высасывает из человека душу.

— Петербург, Вера Александровна, город суровый, кто же спорит, — Чичиков посмотрел на нее с такой теплотой, что девушка невольно опустила глаза. — Но для меня его гранит оказался надежнее любой весенней распутицы. Здесь камень, зато на него опереться можно. Да и холоден он лишь снаружи. А если посчастливится найти в этом каменном лесу приветливый огонек… — он запнулся, почувствовав, что заходит слишком далеко для первого визита, и мягко закончил: — Словом, ни в какие губернии меня больше калачом не заманишь. Здесь мой пост, и здесь я намерен стоять до конца.

— И слава Богу! — горячо поддержал старик, не заметивший той тонкой нити, что на мгновение натянулась между его дочерью и гостем. — Таких людей, как вы, нам в столице ох как не хватает! Выпьемте-ка еще по чашечке!

Вечер пролетел как одно счастливое, мимолетное мгновение. Говорили о литературе — Светлооков оказался большим поклонником Карамзина и Державина, а Вера Александровна читала наизусть Жуковского. Чичиков, чьи познания в поэзии ограничивались казенными циркулярами да случайными афишами, больше слушал, но слушал с таким искренним, благоговейным вниманием, что хозяевам это было приятнее любых ученых бесед.

Когда напольные часы с хриплым вздохом пробили половину десятого, Павел Иванович понял, что пора и честь знать. Засиживаться в первый вечер было неприлично.

Он поднялся, извинился за то, что злоупотребил гостеприимством, и стал откланиваться.

— Да что вы, батюшка, какое там злоупотребили! — замахал руками Светлооков, провожая его в прихожую. — Мы с Верочкой давно так душевно не сиживали. Заходите к нам запросто, без чинов. Как выдастся свободный вечер от смет ваших — так прямо и жалуйте!

— Благодарю вас, Александр Иванович. Это величайшая честь для меня.

Чичиков надел шинель, взял в руки шляпу и обернулся. Вера Александровна стояла в дверях гостиной. На губах ее играла легкая, почти неуловимая улыбка.

— До свидания, Павел Иванович, — произнесла она своим ровным, грудным голосом. — Пусть петербургский ветер будет к вам сегодня милостив.

— С таким напутствием, сударыня, мне и сибирская вьюга не страшна, — ответил Чичиков, низко поклонился и шагнул за порог.

Выйдя на набережную Фонтанки, он глубоко вдохнул влажный, пахнущий речной водой и печным дымом воздух. Ночь уже полностью вступила в свои права, укутав столицу густым сизым покровом. Ветер действительно стих, словно повинуясь пожеланию Веры Александровны. Павел Иванович шел пешком по темным улицам в сторону Васильевского острова, не замечая ни луж, ни расстояния.

В голове его шумело, но не от выпитого (он не притронулся даже к наливке, которую предлагал хозяин), а от того пьянящего, щемящего чувства обретенной надежды. Он вспоминал каждое слово, сказанное за столом, каждую складку на ее синем шерстяном платье, то, как ее тонкие пальцы уверенно и изящно держали серебряную ложечку.

«Господи, — билась в висках счастливая, ясная мысль. — Никаких миллионов не нужно, никаких херсонских степей с их мертвыми душами! Лишь бы вот этот свет, да этот самовар, да право сидеть рядом, не пряча глаз…»

Он миновал Семеновский мост, прошел мимо дремлющих, закутанных в тулупы будочников, чьи алебарды тускло поблескивали в свете редких масляных фонарей. Громады петербургских домов, обычно казавшиеся ему чужими и надменными, сегодня расступились, словно признав в нем своего.

Вернувшись в свою квартиру, Чичиков застал привычную картину. В передней, прямо на сундуке, раскинув руки и оглушительно выводя носом витиеватые рулады, спал нераздевавшийся Селифан. В комнате было зябко — дрова нынче берегли, протапливая печь лишь раз в сутки.

Павел Иванович осторожно, стараясь не шуметь, зажег сальную свечу. Огарок бросил на выбеленные стены неровные, дрожащие тени. Чичиков снял парадный фрак, но, в отличие от прежних времен, когда он небрежно кидал одежду лакею, теперь он бережно, словно святыню, разгладил на нем каждую складочку и аккуратно повесил на спинку стула. Этот фрак перестал быть просто сукном — он стал свидетелем его первого, настоящего человеческого счастья.

Раздевшись и нырнув под холодное одеяло, Павел Иванович долго не мог уснуть. Он лежал с открытыми глазами, глядя в темный потолок, и впервые в жизни занимался совершенно непривычным для себя делом: он не высчитывал проценты, не прикидывал выгоду от подрядов и не строил планов мести обидчикам. Он представлял. Представлял, как в этой самой комнате (или, лучше, в новой, светлой квартирке о трех комнатах где-нибудь на Мойке) появятся кисейные занавески. Как на столе будет лежать не казенная бумага, пахнущая сургучом, а чистая скатерть. И как тихие, размеренные шаги Веры Александровны наполнят это жилище смыслом.

С этого воскресного вечера жизнь Павла Ивановича неуловимо, но неотвратимо переменилась.

Внешне всё оставалось по-прежнему. Утром он всё так же пил пустой чай, бранил Селифана за нечищеные сапоги или леность, надевал вицмундир и отправлялся в свой строительный департамент. Там его ждали всё те же пухлые папки смет, подрядчики с бегающими глазами и вечная канцелярская пыль. После истории с лесом купца Дерунова (который по-

прежнему сидел под следствием, тщетно пытаясь выкупить свою свободу через влиятельных покровителей) чиновники обходили стол Чичикова стороной, а просители даже не помышляли о том, чтобы подсунуть ему конверт.

Но внутренне Чичиков преобразился. Эта перемена сказывалась в мелочах, которые заметил бы лишь очень внимательный глаз. Проходя по Невскому проспекту после службы, Павел Иванович теперь не заглядывался на щегольские экипажи и не оценивал мысленно стоимость рысаков. Его взгляд всё чаще останавливался на витринах мебельных магазинов и лавок белошвеек.

Однажды он простоял добрых четверть часа перед огромным зеркальным окном английского магазина, завороженно разглядывая изящный комод красного дерева и фарфоровый сервиз на двенадцать персон с тончайшей позолотой. Он даже мысленно прикинул его стоимость и, придя домой, достал из потайного ящика бюро свою заветную шкатулку. Там, аккуратно перевязанные бечевкой, хранились его сбережения — честно выслуженное жалованье и премиальные, выданные комиссией за раскрытие шлиссельбургской аферы. Денег было немного, не чета прежним капиталам, но Чичиков с удовольствием пересчитал ассигнации, бережно разглаживая уголки. На обустройство скромного, но достойного гнездышка должно было хватить.

Его визиты на Фонтанку мало-помалу сделались делом привычным и даже необходимым, как дыхание. Сначала он заходил раз в две недели, боясь показаться навязчивым. Потом — каждое воскресенье. А к началу декабря, когда Неву окончательно сковало крепким синеватым льдом, а по улицам с веселым скрипом полетели сани, Павел Иванович стал бывать у Светлооковых и по средам.

Статский советник встречал его как родного сына. Заметив, что гость не пьет наливок и не играет в карты, старик окончательно утвердился в мысли, что Чичиков — редчайший бриллиант в петербургской грязи.

А отношения с Верой Александровной развивались неспешно, без тех бурных, театральных страстей, о которых любят писать авторы французских романов. В их возрасте и с их жизненным опытом страсть уступает место глубокому, трепетному уважению и осторожному узнаванию друг друга.

Чичиков не умел говорить изысканных комплиментов. Зато он умел слушать. И долгими зимними вечерами, когда за окном выла холодная балтийская вьюга, швыряя в стекла пригоршни колючего снега, он сидел в вольтеровском кресле и слушал. Вера читала вслух, или рассказывала о своем детстве, прошедшем в старом отцовском имении под Тверью, давно проданном за долги.

Павел Иванович, в свою очередь, начал приносить небольшие, но тщательно продуманные гостинцы. То кулечек отборного цейлонского чая, купленного в лавке на Гостином дворе, то новый выпуск «Отечественных записок», о котором Вера обмолвилась на прошлой неделе. Эти скромные знаки внимания принимались с такой тихой, искренней благодарностью, что у Чичикова всякий раз вырастали за спиной крылья.

Январь обрушился на столицу настоящими, трескучими крещенскими морозами. Нева встала намертво, скованная толстым панцирем зеленоватого, прозрачного льда. Воздух сделался колючим, звонким и таким чистым, что каждый звук — будь то скрип полозьев, окрик извозчика или удар топора на верфи — разносился на целую версту. Дым из тысяч петербургских труб поднимался в бледно-голубое, вымороженное небо строгими, прямыми столбами.

В одно из таких ясных воскресений, когда солнце, хоть и не грело, но ослепительно искрилось на заиндевевших куполах церквей, Павел Иванович по обыкновению явился на Фонтанку.

Старик Светлооков встретил его в кресле, укутав ноги пледом: к морозам у него обострился застарелый ревматизм.

— Ох, Павел Иванович, голубчик, — пожаловался он, потирая колени. — Куда мне, старику, по такой стуже кости выгуливать. А день-то вон какой разгулялся! На Неве, сказывают кухарки, катальные горы выстроили, балаганы раскинули. Верочка моя уж которую неделю из дому не выходит, всё со мной, старым пнем, возится. Сделайте одолжение, выведите ее на морозный воздух, покажите праздник. Под вашей опекой я за нее спокоен, как за каменной стеной.

Чичиков даже внутренне замер от оказанного ему высочайшего доверия. Гулять вдвоем, без сопровождения, среди столичной публики — это был знак величайшего расположения и почти родства.

Вера Александровна вышла из своей комнаты в темно-вишневом бархатном салопе, скромно подбитом лисьим мехом, и в небольшой меховой шапочке, из-под которой выбилось несколько светлых прядей. От предвкушения прогулки на ее щеках уже играл легкий, естественный румянец.

Они вышли на улицу. Снег под ногами скрипел, точно битое стекло. Дойдя до набережной, Павел Иванович чуть замедлил шаг и, чувствуя, как от волнения у него холодеют пальцы в теплых перчатках, учтиво согнул руку в локте:

— Обопритесь, Вера Александровна. Ступени здесь обледенели, не ровен час оступитесь.

Она с легкой, благодарной улыбкой вложила свою руку в его. Вес ее девичьей руки, тепло, едва ощутимое сквозь ткань салопа и сукно его шинели, показались Чичикову величайшей драгоценностью, которую ему когда-либо доводилось держать. Никакая шкатулка с ассигнациями, никакие закладные на имения не могли сравниться с этим простым, доверчивым жестом.

Они спустились на лед Невы, которая в эти зимние дни превратилась в самую широкую, самую шумную и веселую улицу Петербурга. Прямо на льду был выстроен целый временный город. Возвышались деревянные исполины катальных гор, украшенные еловыми ветками и пестрыми флагами. С визгом и смехом летели с них на санках-ледянках румяные купчихи, лихие офицеры и петербургские мастеровые. По расчищенным дорожкам проносились богатые рысаки, запряженные в легкие щегольские санки с медвежьими полостями; звенели бубенцы, храпели лошади, обдавая морозный воздух клубами пара.

Вдоль тропинок стояли торговцы-разносчики с лотками. Пахло горячим сбитнем, пряниками, калеными орехами и дымом березовых дров.

— Как здесь хорошо! — вырвалось у Веры Александровны. Глаза ее сияли, отражая этот пестрый, звенящий зимний праздник. — Посмотрите, Павел Иванович, сколько лиц, и ни одного хмурого. Мороз словно выморозил из них все канцелярские заботы.

— Мороз в России, Вера Александровна, — первый лекарь и первый градоначальник, — улыбнулся Чичиков, бережно поддерживая ее на скользком участке. — Он всех равняет. Вон, извольте видеть, экзекутор из соседнего департамента. В присутствии — сущий тигр, слова поперек не скажи, а здесь летит с горы, растопырив руки, и шапку потерял!

Вера тихо, искренне рассмеялась, прикрыв лицо муфтой. Звук этого смеха был для Чичикова слаще любой музыки.

Они подошли к лоточнику, торговавшему горячим медовым сбитнем из пузатого медного баклаги, укутанного в ватное одеяло.

— Дозвольте угостить вас, Вера Александровна. От мороза здорово защищает, — предложил Павел Иванович.

Он купил две глиняные кружечки, от которых шел густой, пряный пар, пахнущий гвоздикой и корицей. Они стояли прямо на льду Невы, посреди шумящей, снующей толпы, и пили обжигающий, сладкий напиток. Чичиков смотрел, как Вера Александровна дует на горячую кромку кружки, как пар окутывает ее лицо, и чувствовал, что растворяется в этом моменте без остатка.

Окружающая толпа, грохот катальных гор, крики зазывал — всё это отступило куда-то на задний план, превратившись лишь в расплывчатые декорации. Существовал только этот пятачок зеленоватого невского льда, тепло ее руки, доверчиво опирающейся на его локоть, и этот запах корицы.

— Знаете, — вдруг тихо произнесла Вера Александровна, глядя куда-то вдаль, на заиндевевший шпиль Петропавловской крепости. — Папенька часто говорит, что вы человек железной воли. Что вы отсекли всё лишнее, чтобы служить правде. А мне почему-то кажется… — она слегка замялась, словно боясь обидеть его своей прямотой, — мне кажется, что вы просто очень долго были одни. И эта ваша строгость — она как шинель в такой вот мороз. Защищает от холода, но не согревает.

Чичиков опустил кружку. Слова ее ударили в самую точку, в то самое сокровенное, что он так старательно прятал от всего мира.

— Вы поразительно проницательны, Вера Александровна, — ответил он почти шепотом, и голос его дрогнул. — Я действительно был один. Всю жизнь, сколько себя помню, — один. И шинель моя, признаться, изрядно поистрепалась в пути. Но с тех пор, как я впервые переступил порог вашего дома… мне впервые захотелось ее снять.

Он посмотрел на нее долгим, немигающим взглядом. Вера Александровна не отвела глаз. В ее взгляде не было ни испуга, ни кокетливого смущения, только глубокое, спокойное понимание. В эту секунду между ними свершилось нечто гораздо большее, чем могло бы вместить любое пылкое словесное признание.

— Нам, пожалуй, пора возвращаться, Павел Иванович, — тихо сказала она наконец. — А то папенька начнет беспокоиться.

Обратный путь прошел почти в полном молчании. Но это было не то тягостное молчание, которым случайные знакомые пытаются заполнить неловкость. Это была та самая драгоценная, плотная тишина, в которой нуждаются двое людей, уже всё понявших друг о друге. И когда Чичиков прощался с ней в прихожей дома на Фонтанке, бережно помогая снять тяжелый бархатный салоп, он уже точно знал: до весны он ждать не станет. Решение было принято окончательно и бесповоротно.

Глава V

Удивительное, непостижимое свойство имеет человеческое сердце! Кажется, уж заскорузло оно, обросло толстой, непробиваемой корой прагматизма, запечаталось сургучом житейской выгоды, и ничто не способно пробить эту броню. Человек привыкает мерить весь мир на аршины да на ассигнации, и в каждом встречном видит либо препятствие, либо ступеньку. Но стоит лишь крошечному, робкому лучу настоящего, неподдельного участия коснуться этой очерствевшей корки, как она дает трещину, и из-под нее, ломая лед, вдруг пробивается нечто такое живое и горячее, о чем сам человек давно позабыл.

Именно это происходило теперь с Павлом Ивановичем. Всю следующую неделю после той памятной прогулки по льду Невы он пребывал в состоянии совершенно для него непривычном. В департаменте он по-прежнему хмурил брови, вычитывая сметы на медные гвозди и дубовые балки, но стоило ему на минуту отложить перо, как взгляд его терял канцелярскую резкость и устремлялся куда-то поверх пыльных шкафов. Ему то и дело чудился запах морозного сбитня с корицей и виделись ясные, темно-карие глаза, смотрящие на него с безоговорочным доверием.

В четверг, получив жалованье и выслушав очередную порцию чиновничьих сплетен о том, как дело Дерунова обрастает новыми томами в суде, Чичиков вышел со службы несколько раньше обыкновенного. Деньги, туго свернутые в трубочку, приятно грели внутренний карман вицмундира. Но сегодня Павел Иванович не понес их домой, чтобы аккуратно уложить в заветную шкатулку. Путь его лежал на Невский проспект, в ту его часть, где в сияющих витринах Гостиного двора выставляли свой товар лучшие столичные ювелиры.

Он долго шел вдоль аркад, вглядываясь в вывески, пока не остановился перед дверью с золоченой надписью: «Ювелирных дел мастер Карл Федорович Штольц». Толкнув тяжелую стеклянную дверь, Чичиков под мелодичный звон колокольчика шагнул в теплое, пахнущее полированным деревом и благовониями помещение.

За прилавком красного дерева, уставленным бархатными бюстами с колье и диадемами, стоял сам хозяин — благообразный, гладко выбритый немец в безукоризненном сюртуке и с профессиональной, в меру почтительной улыбкой на губах.

— Чего изволите-с, сударь? — обратился Карл Федорович, мгновенно и безошибочно оценив добротный, но не щегольской мундир вошедшего. — Желаете взглянуть на табакерки? Имеются превосходные французские эмали, только вчера с таможни. Или, быть может, часы с репетиром?

— Благодарю вас, табаку не держу, а часы мои ходят исправно, — степенно ответил Павел Иванович, подходя к прилавку. Он слегка откашлялся, чувствуя непривычную неловкость. — Мне бы, знаете ли… кольцо.

— О! — многозначительно протянул ювелир, и улыбка его сделалась еще более предупредительной. — Для супруги-с по случаю именин? Или, быть может… для помолвки?

— Именно-с. Для помолвки, — подтвердил Чичиков, и от одного того, что он произнес это слово вслух, при постороннем человеке, по спине его пробежал волнительный холодок.

— Извольте видеть, сударь, — немец ловко извлек из-под стеклянной витрины плоский лоток, обитый черным бархатом.

На черном фоне тускло и благородно блеснуло золото, вспыхнули ледяными искрами бриллианты, полыхнули кровью рубины и заворожили глубокой синевой сапфиры. Было время, когда Чичиков, выбирая вещь, руководствовался бы лишь тем, насколько тяжело и богато она выглядит, чтобы пустить пыль в глаза какому-нибудь губернатору. Он искал бы массивности, показной роскоши. Но теперь его взгляд скользил по крупным, вычурным камням с

равнодушием. Всё это было слишком кричаще, слишком грубо для Веры Александровны. Ей не шли ни тяжеловесные бриллианты, ни надменные изумруды.

Его внимание привлекло одно колечко в самом углу лотка. Оно было узким, изящной, невероятно тонкой работы. Золотая лоза бережно оплетала один-единственный камень — сапфир средней величины, но такой поразительной чистоты и такого глубокого, бархатного синего цвета, что он почти в точности повторял оттенок ее любимого шерстяного платья. В нем не было гордыни, зато светилось тихое, ровное благородство.

— Позвольте вот это, — Павел Иванович указал пальцем.

— У господина прекрасный вкус, — одобрительно закивал Штольц, подавая кольцо. — Работа петербургская, но камень цейлонский. Чистейшей воды, смею вас уверить. Без малейшего изъяна внутри. Смотрится скромно, но знаток сразу поймет истинную цену.

Цена действительно оказалась немалой. Она равнялась почти двухмесячному жалованью надворного советника. Еще год назад Чичиков удавился бы за такую сумму, пустился бы в долгий, изматывающий торг, грозясь уйти к конкурентам. Но сейчас он лишь мысленно прикинул свои сбережения, достал из внутреннего кармана свернутые ассигнации и молча отсчитал нужную сумму на прилавок.

Он расставался с этими деньгами легко, с каким-то тайным, мстительным наслаждением попирая свою прежнюю скупость. Каждая бумажка, отданная за это кольцо, казалась ему кирпичом, заложенным в фундамент его нового, честного дома.

Когда крошечный сафьяновый футляр перекочевал в карман его шинели, Чичиков вышел на Невский проспект с таким чувством, будто у него за спиной действительно выросли крылья. Он шел домой, и футляр легонько покачивался при каждом шаге, ударяясь о грудь, словно второе сердце.

По возвращении в свою квартиру на Васильевском острове он первым делом кликнул Селифана.

Лакей ввалился в комнату, на ходу приглаживая вечно всклокоченные волосы и распространяя густой запах дегтя и махорки. Увидев барина в необычайно приподнятом, светлом расположении духа, Селифан даже несколько опешил и подозрительно прищурился.

— Слушай меня внимательно, Селифан, — торжественно начал Павел Иванович, заложив руки за спину и прохаживаясь по комнате. — Завтра воскресенье. Чтобы к утру сапоги мои не просто блестели, а сияли, как зеркало в Зимнем дворце! Фрак выбить так, чтобы ни единой пылинки, ни единой ворсинки на нем не осталось. И сам… сам чтобы вымылся в бане, надел чистую рубаху и не смел разить мне табаком! Завтрашний день — особенный.

Селифан почесал затылок, переваривая услышанное.

— Сделаем, Павел Иванович, отчего же не сделать, — прогудел он. — Баня — дело хорошее, кости попарить завсегда полезно. Только… никак к министру какому с докладом званы? Или, не ровен час, орден давать будут за того купца, что вы намедни изловили?

— Бери выше, дубина, — усмехнулся Чичиков, останавливаясь и глядя в заснеженное окно. — Бери выше. Ордена на грудь вешают, а тут дело о душе. Ступай, и чтобы всё было исполнено в точности!

Селифан ушел, бормоча себе под нос что-то о барских причудах и дороговизне мыла, а Павел Иванович сел к столу, достал из кармана сафьяновый футляр и щелкнул замочком. Сапфир тускло блеснул в свете сальной свечи. Завтра он переступит порог дома на Фонтанке уже не просто как сослуживец или гость. Завтра он положит на кон всю свою жизнь.

Глава VI

Воскресное утро выдалось на редкость торжественным и тихим. Мороз немного спал, уступив место мягкой, пушистой зиме, и с бледно-серого петербургского неба неспешно, крупными хлопьями падал снег. Он ложился на гранитные парапеты, на крыши домов и на плечи прохожих, придавая суровому городу какой-то уютный, почти домашний вид.

Павел Иванович проснулся задолго до того, как в окна заглянул бледный столичный рассвет. Ночь он провел в тревожной полудреме, то и дело просыпаясь и прислушиваясь к биению собственного сердца. Однако, встав с постели, он почувствовал удивительную, кристальную ясность в голове. Сомнения, терзавшие его прежнюю, боязливую натуру, исчезли без следа.

Селифан превзошел самого себя. Сапоги Павла Ивановича не просто блестели — они горели черным, глубоким лаком, а парадный фрак был вычищен с такой неистовой тщательностью, что, казалось, помолодел лет на пять. Сам лакей, действительно сходивший накануне в баню и щедро напомадивший волосы деревянным маслом, почтительно подал барину шинель, всем своим видом выражая понимание важности момента.

Когда Чичиков вышел на улицу, город только-только просыпался под благовест церковных колоколов. Павел Иванович не стал нанимать извозчика. Ему нужно было пройти эти версты пешком, чтобы мерный шаг по заснеженным тротуарам окончательно успокоил дыхание и привел мысли в порядок. Сафьяновый футляр во внутреннем кармане грел грудь сквозь все слои сукна.

Дом Меркулова на Фонтанке встретил его привычной тишиной чистой парадной лестницы. Знакомая кухарка, отворяя дверь, как-то по-особенному, с затаенной и доброй улыбкой поклонилась раннему гостю.

— Александр Иванович у себя в кабинете-с, — шепнула она, забирая шинель. — Бумаги какие-то разбирают. А Вера Александровна распорядились самовар ставить.

— Доложите Александру Ивановичу, что я прошу у него несколько минут для приватного разговора, — твердо сказал Чичиков.

Статский советник принял его в своей небольшой комнатке, служившей ему кабинетом. Старик сидел за конторкой, в накинутом на плечи стареньком сюртуке, и что-то писал. Увидев Чичикова, он радостно засуетился, откладывая перо.

— Павел Иванович! Ранняя пташка! А мы вас только к вечеру ждали. Что-нибудь по службе стряслось? Дерунов опять козни строит? — тревожно спросил Светлооков, вглядываясь в необычайно серьезное, почти бледное лицо гостя.

— Нет, Александр Иванович. Дела службы нынче подождут, — Чичиков остановился посреди комнаты. Он не стал садиться в предложенное кресло. Вдохнув поглубже, словно перед прыжком в холодную воду, он заговорил — четко, ясно и с той абсолютной искренностью, которая не терпит витиеватых предисловий: — Я пришел к вам сегодня по делу самому важному в моей жизни. Александр Иванович… я прошу руки вашей дочери, Веры Александровны.

В кабинете повисла звенящая тишина. Старик Светлооков замер, так и не опустив руку, которой указывал на кресло. Глаза его, увеличенные стеклами очков, наполнились внезапной, беззащитной влагой. Он медленно опустился на свой стул.

— Господи Иисусе… — тихо выдохнул статский советник, дрожащей рукой снимая очки и протирая глаза. — Павел Иванович… батюшка мой…

Чичиков, испугавшись этой реакции, поспешно шагнул вперед:

— Я понимаю, что не смею равняться с вами ни знатностью рода, ни капиталами. Прошлое мое, как вам известно, было не из легких, и я лишь теперь встал на твердую почву честной жизни. Жалованье мое невелико, но у меня есть небольшие сбережения. Я клянусь вам

перед Богом, что сделаю всё, чтобы Вера Александровна не знала ни нужды, ни горести. Моя жизнь, моя честь — всё отныне принадлежит ей.

— Да полноте вам о капиталах, Павел Иванович! — Светлооков вдруг вскочил, обогнул стол и, подойдя к Чичикову, крепко, по-отечески обнял его. Сухие старческие губы дрожали. — Какие к лешему капиталы! Разве я слепой? Разве я не вижу, какими глазами она на вас смотрит? Да я каждый вечер молил Бога, чтобы Он послал моей девочке человека надежного, с душой живой, а не петербургского щеголя с пустым сердцем! Лучшего зятя я и просить не смел.

Старик отстранился, утирая набежавшую слезу.

— Благословение мое вам дано, Павел Иванович. От всего чистого сердца. Но… — Светлооков поднял палец, — вы же знаете порядки в нашем доме. Я ею не торгую и волю не навязываю. Как Верочка сама решит, так тому и быть. Идите к ней. Она в гостиной.

Чичиков поклонился старику так низко, как никогда не кланялся ни одному губернатору, и вышел из кабинета.

В гостиной, залитой мягким, рассеянным светом зимнего утра, было тепло и покойно. Вера Александровна стояла спиной к двери, у подоконника, и тонкими пальцами поправляла листочки герани. На ней было светлое утреннее платье, делавшее ее фигуру еще более статной и воздушной.

Услышав шаги, она обернулась. В ее темных глазах на мгновение мелькнул испуг — она не ожидала увидеть его так рано, — но он тут же сменился глубокой, тихой радостью.

— Павел Иванович? Вы так рано… На улице, должно быть, сильный снегопад?

Он подошел к ней почти вплотную. Слова, которые он репетировал всю ночь, — красивые, гладкие фразы из французских романов — вылетели из головы подчистую. Перед ним стояла не просто женщина, перед ним стояло само его спасение.

— Вера Александровна, — голос его сорвался, стал глухим и хриплым. — Я только что говорил с вашим батюшкой. Я… Вера Александровна, мне сорок лет. Я много бродил по свету, много ошибался, много падал. До встречи с вами моя душа была похожа на пустую казенную комнату. Вы принесли в нее свет.

Он достал из кармана сафьяновый футляр, но не стал его открывать, а просто зажал в ладони, словно боясь, что блеск золота всё испортит.

— Я не умею говорить красиво. Но я умею быть верным. Если вы согласитесь стать моей женой, я посвящу каждый день своей жизни тому, чтобы вы были счастливы. Согласны ли вы стать моей супругой?

Вера Александровна смотрела на него, и лицо ее преображалось. Исчезла всегдашняя сдержанность, слетела пелена спокойствия, обнажив ту великую, самоотверженную женскую нежность, на которую способна только по-настоящему любящая душа. Она не стала кокетничать, не стала отворачиваться или просить времени на раздумья.

Она сделала шаг навстречу и просто, по-русски, положила обе свои руки ему на плечи.

— Я согласна, Павел Иванович, — ответила она тихо, но так твердо, что эти слова эхом отозвались в каждом уголке его израненного сердца. — Я буду вам верной женой.

Только тогда дрожащие пальцы Чичикова справились с замочком футляра. Щелчок показался громким в утренней тишине гостиной. На черном бархате тускло мерцал сапфир, в точности повторяя цвет ее глаз.

Павел Иванович бережно взял ее правую руку и надел кольцо на безымянный палец. Оно пришлось впору, словно было выковано специально для этой руки еще при сотворении мира.

Вера посмотрела на кольцо, затем подняла глаза на Чичикова, и на ресницах ее задрожали слезы — светлые, смывающие все горести прошлого. Он осторожно, боясь спугнуть это невероятное чудо, привлек ее к себе и впервые прикоснулся губами к ее теплому, пахнущему утренней свежестью виску.

За окном мерно падал петербургский снег, укрывая город белым саваном, а здесь, в небольшой квартире на Фонтанке, человек, когда-то торговавший мертвыми душами, наконец-то обрел душу живую.

Глава VII

С того самого судьбоносного воскресного утра, когда сапфировое кольцо коснулось руки Веры Александровны, жизнь Павла Ивановича вошла в совершенно новое, неизведанное русло. Если прежде все его дни были подчинены единой, сухой цели накопления капитала ради самого капитала, то теперь каждая копейка, каждый час службы и каждая мысль обрели живой, теплый смысл. Самым главным для него сделалось устройство будущего семейного гнезда, которое должно было стать надежной крепостью для его любимой.

Светлооков, узнав о скорой свадьбе, как-то сразу обмяк, но не от горя, а от того счастливого, умиротворенного бессилия, которое наступает у старых людей, когда они понимают, что главная их жизненная задача выполнена. Он начал понемногу готовиться к выходу в отставку. Вечерами статский советник подолгу сидел за своим столом, разбирая скопившиеся за десятилетия службы бумаги, рвал старые черновики и писал прошения, собираясь передать свои дела в департаменте более молодым и рьяным чиновникам. Павел Иванович же теперь просиживал свободные часы не над счетами, а над газетными листками, где мелким шрифтом печатались объявления об аренде квартир.

Ему хотелось найти не просто жилье, а нечто совершенно особенное. Квартира непременно должна была быть светлой, сухой, чтобы петербургская сырость не коснулась Веры Александровны, и с таким видом из окна, который радовал бы глаз долгими зимами. После долгих поисков и расспросов знакомых по службе, выбор его пал на просторный дом на набережной реки Мойки. Дом этот принадлежал одному обедневшему княжескому роду и сдавался по частям.

Выбрав свободный от присутствия час, Чичиков отправился осматривать будущее жилище. День выдался серый, типично петербургский, но без сильного ветра. Мойка, закованная в лед, извивалась между гранитными берегами, по которым то и дело проносились извозчики. Дом оказался каменным, основательным, с широкой парадной лестницей, украшенной чугунным литьем. Навстречу Павлу Ивановичу вышел управляющий — тучный, одышливый человек с бегающими глазками, привыкший, судя по всему, иметь дело с самыми капризными столичными жильцами.

Управляющий, гремя ключами, провел гостя на второй этаж и распахнул тяжелые, мореного дуба двери. Квартира состояла из пяти комнат. Павел Иванович медленно, по-хозяйски прошел по анфиладе. Привычка во всем искать подвох, выработанная годами скитаний по губерниям, никуда не делась, но теперь она служила иной цели. Он придирчиво ощупывал изразцы на печах, проверяя, не будет ли дымить; осматривал оконные рамы, чтобы нигде не дуло; стучал тростью по паркету, прислушиваясь, нет ли под ним гнили или мышиных ходов.

Управляющий, семеня следом, то и дело принимался расхваливать жилье, рассказывая о том, какие знатные особы снимали эти комнаты прежде, и как дорого нынче обходится хозяевам поддержание такой роскоши. Он явно готовился к долгому, изматывающему торгу, ожидая, что этот солидный чиновник начнет сбивать цену за каждую царапину на обоях.

Но Чичиков вдруг остановился посреди самой большой комнаты, которая должна была стать гостиной. Три высоких окна смотрели прямо на реку. Света здесь было столько, что даже в этот пасмурный день комната казалась наполненной воздухом. Павел Иванович закрыл глаза и ясно, до мельчайших подробностей представил, как у окна встанет рабочее кресло для старого Александра Ивановича, которого они, разумеется, заберут к себе. Как в углу разместится круглый стол с белоснежной скатертью. И как Вера, в своем синем платье, будет разливать чай, улыбаясь ему, возвращающемуся со службы.

От этой картины у него так сладко и горячо сжалось сердце, что все слова о дороговизне застряли в горле. Он открыл глаза, посмотрел на удивленного управляющего и ровным,

спокойным голосом назвал сумму, согласившись на все условия без единой попытки сбить цену. Управляющий даже поперхнулся от неожиданности, но тут же расплылся в широчайшей улыбке, поспешив ударить по рукам, пока странный квартирант не передумал.

Подписав бумаги и внеся задаток из своих сбережений, Чичиков вышел на улицу. Он чувствовал себя человеком, который только что заложил первый камень в основание храма. Впереди были хлопоты по найму обойщиков, покупке мебели, заказу новых портьер. Ему предстояло еще столько всего сделать, чтобы к весне, когда будет назначено венчание, квартира превратилась в настоящий дворец для его королевы.

Вечером того же дня он пришел на Фонтанку с совершенно особенным, торжественным видом. Вера Александровна встретила его в прихожей, и одного взгляда на ее светлое лицо было достаточно, чтобы Павел Иванович понял: все эти траты, все эти хлопоты стоят одной лишь ее улыбки. Они долго сидели за чаем, обсуждая планы на будущее. Светлооков, слушая их тихие разговоры, только благостно кивал, время от времени протирая очки. Впервые за много лет в этом доме царило абсолютное, ничем не омраченное счастье, и Чичиков, глядя на свою невесту, чувствовал, как его прошлая жизнь растворяется, уходит в небытие, оставляя место только свету и покою.

Глава VIII

Время, отпущенное до весеннего венчания, полетело для Павла Ивановича с небывалой, пугающей быстротой. Петербургская зима начала медленно, с неохотой сдавать свои позиции. Дни становились длиннее, небо над Невой утратило свою свинцовую глухоту и налилось бледной, робкой синевой, а по углам Гостиного двора уже начали продавать первые тепличные цветы.

Для Чичикова эти недели превратились в череду непрерывных, но на удивление радостных забот. Едва заканчивались присутственные часы в департаменте, он сбрасывал с себя чиновничью суровость вместе с казенным сукном и превращался в самого дотошного, самого взыскательного покупателя во всей столице.

Обустройство просторной квартиры на Мойке требовало не только изрядных капиталов, но и колоссального внимания к мелочам. Никогда прежде Павел Иванович не подозревал, что в мире существует такое великое множество сортов дерева, обивочных тканей, бахромы и медной фурнитуры. Он начал разбираться в мебели с той же въедливой основательностью, с какой когда-то изучал ревизские сказки. Его теперь часто можно было встретить в мастерских на Гороховой улице или в Апраксином дворе. Он подолгу стоял в пропахших столярным клеем, стружкой и горячей олифой лавках, придирчиво проводя рукой по полированным столешницам красного дерева и карельской березы.

Мастеровые поначалу пытались вести с ним привычную торговлю: запрашивали втридорога, клялись здоровьем детей, что отдают себе в убыток, и подсовывали мебель из сырого леса, замаскированную толстым слоем лака. Но Чичиков быстро отучил их от этих хитростей. Его взгляд, наметанный на казенных подрядах, безошибочно определял и скрытую трещину в ножке кресла, и дешевую ткань, выданную за лионский шелк. Он торговался, но торговался теперь не из жадности, а из глубокого уважения к честному труду. Если вещь была сделана на совесть, крепко и на века, он доставал бумажник и платил сполна, вызывая у столяров немое почтение.

Постепенно пустые, гулкие комнаты на Мойке начали наполняться жизнью. В гостиной занял свое место массивный круглый стол, за которым с комфортом могли разместиться человек десять. Вокруг него полукругом встали мягкие, обитые темно-синим штофом стулья. У окна, как и задумывал Чичиков, появилось глубокое покойное кресло для Александра Ивановича с удобной подставочкой для больных ног. В спальне установили широкую кровать карельской березы, а окна затянули тяжелыми портьерами, призванными надежно охранять семейный покой от любопытных взглядов петербургской улицы.

Селифан, которого барин также приобщил к переезду, таскал узлы и ящики с невиданным энтузиазмом. Ему была обещана новая ливрея и отдельная, теплая каморка при кухне, что после сырой дворницкой на Васильевском острове казалось верхом жизненного благополучия. Кучер даже перестал ворчать на городскую тесноту и с важным видом покрикивал на нанятых грузчиков, чувствуя себя управляющим большого барского дома.

В один из тех прозрачных апрельских дней, когда лед на реках уже потемнел и надулся, готовясь вот-вот треснуть и уйти в Балтику, Павел Иванович решился показать свое творение Вере Александровне и будущему тестю. Он нанял лучшую щегольскую коляску, велел поднять верх, чтобы весенний ветер не простудил старика, и приехал на Фонтанку.

Ехали недолго. Всю дорогу Светлооков добродушно ворчал, что незачем было тратиться на извозчика, но в глазах его светилось неподдельное любопытство. Вера Александровна сидела рядом с Чичиковым, спрятав руки в небольшую муфту, и смотрела на город с таким безмятежным спокойствием, словно вся суета столицы обтекала их экипаж стороной.

Когда они поднялись на второй этаж и Павел Иванович распахнул перед ними дубовые двери, в квартире стоял тот особенный, ни с чем не сравнимый запах нового, чистого жилья, где еще не успели поселиться чужие горести и обиды. Пахло мастикой для натирания паркета, свежим обойным клеем и немного лавандой, которую Чичиков заранее велел разложить по углам.

Светлооков ахнул и замер на пороге, озирая анфиладу комнат. Он, проживший почти всю жизнь в казенных, тесных клетушках, не мог поверить, что этот простор, этот свет и этот основательный уют теперь принадлежат его дочери. Старик медленно, опираясь на трость, пошел по комнатам, благоговейно трогая обивку кресел и рассматривая лепнину на потолке. Дойдя до гостиной и увидев приготовленное специально для него кресло у окна с видом на набережную, он вдруг остановился, достал носовой платок и долго, с шумом сморкался, отвернувшись к стеклу.

Вера Александровна обходила свои новые владения с тихой, светлой радостью. Она не издавала восторженных возгласов, не всплескивала руками, но каждое ее движение, каждый взгляд говорили о глубочайшей признательности. Она остановилась в столовой, провела рукой по гладкой поверхности буфета, где уже тускло поблескивал новый сервиз, и обернулась к Чичикову.

— Вы превзошли все мои самые смелые мечты, Павел Иванович, — сказала она своим глубоким, грудным голосом. — Я вижу, с какой любовью выбрана здесь каждая вещь. В этом доме хочется жить долго и правильно.

— Я строил его не для себя, Вера Александровна, — ответил Чичиков, подходя ближе и нежно беря ее за руку. — Я строил его для нас. Все эти вещи мертвы без вашего присутствия. Только вы способны вдохнуть в них настоящую жизнь.

Они стояли у окна, глядя на то, как потемневший лед Мойки внизу медленно покрывается глубокими трещинами. Весна неумолимо вступала в свои права, ломая старые зимние оковы. Так же неумолимо ломалась и уходила в прошлое прежняя жизнь Павла Ивановича. Впереди их ждало венчание, которое было решено провести скромно, без лишнего петербургского шума, в небольшой приходской церкви.

Служба в департаменте между тем шла своим чередом. Дело купца Дерунова, о котором в начале зимы гудел весь город, постепенно обросло невероятным количеством бумаг, перешло в судебные инстанции и утонуло в канцелярском болоте. Чичикову больше не предлагали взяток, его стол обходили с почтительным ужасом, и он мог спокойно посвящать свои рабочие часы прямым обязанностям. Ничто, казалось, не могло омрачить его пути к алтарю.

Глава IX

Колокольный звон скромной церкви во имя Святого Николая, затерявшейся в тихих переулках неподалеку от Коломны, лился над залитыми весенним солнцем улицами тихо и торжественно. В этот апрельский день природа словно решила подыграть настроению влюбленных: воздух был на редкость прозрачным, с крыш звонко капали последние остатки ночной наледи, а голуби ворковали на карнизах с каким-то одушевленным усердием.

Внутри храма царил полумрак, разорванный золотистыми лучами, падавшими через узкие высокие окна и выхватывавшими из сумрака мерцающие огоньки восковых свечей. Запах ладана, воска и весенней свежести наполнял пространство.

Павел Иванович стоял у аналоя, ощущая, как гулко и часто бьется сердце под безупречно вычищенным сукном фрака. На мгновение ему показалось, что всё происходящее — лишь удивительный сон, наваждение уставшего в странствиях человека. Разве мог он, бывший проныpливый делец, скупщик мертвых душ, запутавшийся в сетях собственных афер и долговых расписок, стоять здесь, у алтаря, в окружении чистых ликов святых?

Рядом с ним стояла Вера Александровна. На ней было простое, но изящное платье из кремового шелка, сшитое без лишней столичной вычурности, подчеркивавшее ее строгую, благородную красоту. Голову украшала легкая кружевная фата, сквозь которую просвечивали гладко зачесанные волосы. Она не опускала глаз с застенчивым жеманством — ее взгляд был спокоен, светел и исполнен такого глубокого, непоколебимого доверия, что у Чичикова к горлу подступил горячий ком.

Позади них, опираясь на резную трость и с трудом удерживая слезы умиления, стоял статский советник Светлооков. Рядом с ним, затаив дыхание, застыл Селифан, облаченный по такому случаю в новенькую суконную ливрею с латунными пуговицами. Кучер так усердно приглаживал пятерней свои вихры, что они упорно торчали во все стороны, придавая его лицу выражение крайнего благоговения и растерянности.

Священник, седовласый благообразный старец с добрыми глазами, неторопливо и важно вел службу. Его мерный, бархатный голос плыл под сводами храма, сплетаясь с тихим пением регентского хора. Когда настало время надевать венцы, руки Павла Ивановича на секунду дрогнули. Но стоило ему почувствовать легкое, уверенное прикосновение пальцев Веры, как дрожь исчезла.

Он бережно, словно хрупчайший драгоценный сосуд, надел золотое кольцо на ее палец. Обменявшись кольцами, они соединили руки перед лицом самого Бога. В этот миг Павлу Ивановичу показалось, что тяжелый камень, давивший на его совесть все эти годы, сорвался в пропасть, оставив после себя легкое, почти невесомое сияние. Он был прощен. Он начал всё с чистого листа.

— Венчается раб Божий Павел рабе Божией Вере… — разнесся по церкви голос священника.

Светлооков тихо всхлипнул, прикрыв глаза платком, а Селифан за их спинами одобрительно, едва слышно кашлянул в кулак, радуясь за барина так, будто сам шел под венец.

После скромного обряда в церкви они втроем — Павел, Вера и уставший, но сияющий от счастья Александр Иванович — вернулись на Мойку. Никаких шумных балов, наемных музыкантов и сотен незнакомых лиц устраивать не стали. Это был их день, тихий и семейный.

Когда они переступили порог новой квартиры, их встретил уютный полумрак комнат, где уже потрескивали дрова в изразцовых печах, а на празднично накрытом столе красовался тот самый пузатый самовар. Вера Александровна, сменив фату на скромный кружевной чепец, сама разливала чай, а старик Светлооков, устроившись в своем излюбленном кресле у окна,

читал вслух стихи Жуковского, время от времени прерываясь, чтобы выпить за здоровье молодых.

Чичиков сидел рядом с женой, чувствуя, как невидимые нити их судеб сплелись в единое целое. За окном шумел весенний Петербург, жизнь его кипела своими вечными заботами, проносились экипажи, спешили по делам чиновники и купцы. Но здесь, за двойными рамами набережной Мойки, существовал другой мир — мир света, честного труда и тихой любви.

Павел Иванович смотрел на горящие свечи, на улыку Веры, на спокойное лицо тестя и думал о том, что настоящее богатство человека измеряется вовсе не количеством душ в ревизских сказках и не толщиной кошелька. Настоящее богатство — это когда вечером тебе есть куда вернуться, и когда дома тебя ждут с открытым, чистым сердцем.

Глава X

Майские дни в Петербурге установились на редкость ласковые. Нева вошла в берега, смыв последние следы зимнего ледохода, и по зеркальной глади рек и каналов уже вовсю шныряли проворные ялки и тяжелые торговые баркасы. Жизнь в новой квартире на Мойке вошла в удивительно размеренную, гармоничную колею, о которой Павел Иванович в прежнюю свою пору не смел бы и мечтать.

Каждое утро начиналось с общего чаепития. Александр Иванович, которому отставка пошла только на пользу — утихли ревматические боли, а на щеках проступил здоровый старческий румянец, — восседал в своем вольтеровском кресле у окна, неспешно полистывая свежие номера газет. Вера Александровна хлопотала у самовара, а Чичиков, аккуратно одетый, но уже без той мертвящей чиновничьей строгости, с легким сердцем отправлялся на службу.

В департаменте дела шли своим чередом. После истории с лесопромышленником Деруновым имя Чичикова приобрело в министерских кругах особый вес. Никто больше не осмеливался смотреть на него как на мелкого пролазу или чинушу, которого можно купить за грош. Сослуживцы здоровались с ним подчеркнуто уважительно, а начальство поручало самые деликатные и сложные ревизии, зная, что Павел Иванович не пропустит ни единой помарки в счетах, но и не станет чинить несправедливых придирок.

Впрочем, мысли самого Павла Ивановича теперь гораздо меньше занимали казенные сметы. Всё его существо было перенесено туда, на набережную Мойки, где в светлых комнатах ждала его Вера. Возвращаясь со службы домой, он по привычке заглядывал в лучшие лавки на Невском или в Гостином дворе — то купит горшочек с цветущей геранью для подоконника, то принесет свежий выпуск толстого литературного журнала, то побалует старика Светлоокова редким китайским чаем.

В один из таких теплых майских вечеров, когда открытые окна пропускали в комнаты мягкий вечерний воздух, напоенный речной прохладой и цветением петербургских садов, они сидели все вместе в гостиной. Вера вышивала у пялец, старик дремал под тиканье часов, а Чичиков перебирал бумаги, проверяя домашние расходы — не из жадности, а для того порядка, который так любила его жена.

Вдруг в передней раздался звонок. Такой резкий и неожиданный в этой тихой идиллии, что Павел Иванович невольно вздрогнул.

Селифан, шаркнув сапогами, отправился открывать дверь. Через минуту в тишине прихожей послышался незнакомый, тяжелый шаг и глухой, с хрипотцой голос, от которого у Чичикова по спине внезапно пробежал неприятный, ледяной холодок.

— Дома хозяин-то? Не ждали, чай? А мы вот с визитом… изволите ли видеть, дело есть государственное.

Дверь в гостиную отворилась, и на пороге вырос невысокий, плотный человек в сером дорожном сюртуке, с запыленными сапогами и с тем характерным выражением лица, какое бывает у людей, привыкших всю жизнь вынюхивать чужие тайны. Маленькие свиные глазки гостя цепко, мазком окинули богатую обстановку комнаты, задержались на портрете в углу и, наконец, впились в побелевшего Павла Ивановича.

Это был прокурорский надзиратель из той самой губернии, где несколько лет назад гремела знаменитая история с мертвыми душами и покупкой несуществующих крестьян. Человек, которого Чичиков меньше всего на свете ожидал встретить в своем петербургском раю.

Глава XI

Внезапное появление человека из далекого, казалось бы, навсегда погребенного под петербургскими сугробами прошлого подействовало на Павла Ивановича подобно удару молнии. Мир, выстроенный с таким трудом, наполненный светом, запахом лаванды и тихим стуком самовара, в одно мгновение качнулся и словно бы покривился.

Прокурорский надзиратель — звали его Прохор Игнатьевич Змеякин, и фамилия эта как нельзя лучше отражала всю его ядовитую, ползучую сущность — не спеша переступил порог гостиной. Сапоги его скрипели по чистому паркету, оставляя грязные разводы от петербургской слякоти. Он не был похож на грозного вершителя судеб; скорее, он напоминал старого, облезлого пса, которого выпустили на след, и который теперь злобно и торжествующе скалит зубы, учуяв добычу.

— А ведь хоромы-то каки отгрохал, Павел Иванович! — проскрипел Змеякин, криво ухмыляясь и стряхивая дорожную пыль с плеч. — Ишь ты, и кресло тебе мягкое, и самовар пузатый, и девица у окна благородная… А батюшка-то, чай, статский советник в отставке? Ловко, ловко устроил свои дела бывший коллежский советник Чичиков! Нечего сказать, высоко взлетел. Да только падать-то с такой высоты больнее будет.

Вера Александровна испуганно привстала из-за пялец, прижав руку к груди. Ее большие темно-карие глаза расширились от недоумения и тревоги; она переводила растерянный взгляд с незваного гостя на побледневшего мужа. Старик Светлооков зашевелился в своем кресле, пытаясь оправить плед, и недовольно забормотал, хмуря седые брови:

— Что это за манеры, милостивый государь? Врываться в чужой дом без доклада, без всякого приличия… Вы кто такой будете? И какое имеете право оскорблять моего гостя… то есть, простите, члена семьи?

Змеякин даже не удостоил старика полноценным взглядом. Он лишь презрительно хмыкнул, достал из кармана пожелтевший, сальный кожаный портфель, развязал тесемки и принялся копаться в ворохе бумаг, скрепленных сургучными печатями и потертыми лентами.

— А право мое, батюшка, самое что ни на есть законное, — процедил надзиратель, не поднимая головы. — Государственное право. Вы думаете, в губернии нашей забыли про те самые души мертвые, что господин Чичиков скупал оптом и в розницу под залог казны? Думаете, концы в воду ушли, раз он в столицу перебрался да в строительном департаменте пристроился? Как бы не так! Бумаги-то губернские не горят. Ошибочка вышла у следствия тогда, недоглядели, побег допустили. А теперь дело вновь поднято, пересмотрено, и резолюция на нем лежит самая что ни на есть строгая — арестовать, допросить и этапом препроводить обратно по принадлежности.

Каждое слово падало на комнату тяжелыми свинцовыми каплями. Воздух сделался густым и удушливым.

Павел Иванович молчал. Все краски отхлынули от его лица, оставив на нем лишь серую, мертвенную маску. Внутри него рушилось всё: и эта квартира на Мойке, и чистые занавески, и запах крыжовенного варенья, и сама возможность честной, человеческой жизни. Он знал эту систему лучше кого бы то ни было. Он знал, что если государственная машина вновь заскрипит своими ржавыми колесами по его душу, то спасения не будет. Никакие заслуги перед строительным департаментом, ни честно раскрытые аферы купца Дерунова не спасут человека с таким шлейфом в прошлом. В Петербурге прощают многое, кроме одного — когда обманщик пытается стать чище самих судей.

Но в этот страшный момент, когда отчаяние уже готово было полностью парализовать волю, взгляд Чичикова упал на Веру.

Она не упала в обморок, не зарыдала и не отшатнулась от него в ужасе. Вера подошла к нему вплотную, тяжело дыша, но с удивительной, гордой твердостью в глазах, и взяла его ледяную руку в свои ладони. Ее пальцы были теплыми и крепкими. В этом простом жесте не было ни осуждения, ни растерянности — только безграничная верность и вызов всему этому грязному, злобному прошлому, которое притащилось по его душу.

Эта теплая волна, исходившая от жены, вдруг обожгла Павла Ивановича, вернув ему способность мыслить. Исчезли паника и страх перед неизбежным. Внутри него снова проснулся тот самый прожженный, изворотливый, но теперь уже окончательно прозревший делец, готовый бороться за свой свет, за свой дом и за свою женщину до последней капли крови.

— Полно шуметь, Прохор Игнатьевич, — голос Чичикова прозвучал тихо, но в нем не было ни дрожи, ни просительных ноток. Он зазвучал жестко, с тем металлом, который заставлял трепетать подрядчиков в губерниях. — Документы свои оставьте при себе для доклада начальству. Вы находитесь в частной петербургской квартире, а не в кабаке и не в затхлом подвале земского суда. Извольте вести себя прилично при даме.

Змеякин опешил от такого приема. Он ожидал увидеть разбитого, дрожащего беглеца, падающего на колени и предлагающего последние гроши за молчание, а перед ним стоял человек с холодным, непреклонным взором хозяина.

— Ты мне зубы-то не заговаривай, Чичиков! — опомнившись, взвизгнул прокурорский надзиратель, подступая ближе и тыча пальцем в бумажку. — Ордер у меня на руках! Завтра же утром ты пойдешь со мной в сытное отделение, а оттуда…

— Завтра будет завтра, — перебил его Павел Иванович, делая шаг навстречу и заставляя Змеякина невольно отступить назад. — А сейчас — ночь. И у вас, дорогой мой Прохор Игнатьевич, нет ни понятых, ни должного предписания столичной полиции на ночной обыск и арест. То, что вы привезли с собой из губернии — это лишь старый запрос, требующий сверки, а не приговор. Если вы сейчас же, по-хорошему, не покинете этот дом, я кликну дворника и велю выставить вас за дверь силой, да так, что потом никакой прокурор вас по судам не защитит за самоуправство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.